

УДК 81'271

РУССКОСТЬ В ЭТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЛАВЯНСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ И ФИЛОСОФИИ)

Синельникова Л.Н.

Концепт как смысл вбирает разного рода культурно значимую информацию. Прежде всего ту, которая направлена на идентификацию народа, выявление консолидирующих и складывающихся в память поколений национальных черт [10; 11]. Для выявления содержания концепта *русскость* мы обратились к работам ряда философов и стихотворениям современных русских поэтов. В русской культуре поэтическая и философская рефлексия достаточно тесно связаны. Эта связь привела к особой парадигме мысли, основанной на совместности поэтических интуиций и философских воззрений.

Философия и поэзия, будучи равно сориентированными на ценности человеческой жизни, в содержании явленного, материального видят прежде всего духовный предмет, опыт переживания которого сопровождается душевным напряжением.

Разноречие, несогласие, споры, взаимное отрицание – все это тоже важная для познания синергетическая совместимость, ведущая к совершенному знанию. Русский философ И. Ильин считал главным в познании *личную теоретическую совесть*, основанную на личном душевном переживании, но сверхличной познавательной очевидности [9, с.16-17]. Знание, сформированное в философии и поэзии, – дар и богатство народа, демонстрирующее тонкую познавательную технику. Философская и поэтическая мысль оказывается целостным феноменом, результатом внутренней сосредоточенности и «утонченного духовного делания» (И. Ильин).

«Философ, подобно поэту, художнику и ученому, подобно политику и пророку, питается, сознательно или бессознательно, *volens aut nolens* (волей-неволей – лат.) духовным опытом своего народа. Он имеет *родину*, то есть национальную духовную культуру, в которой сложился его индивидуальный дух, с его жизненными убеждениями; от этой-то духовной культуры питается – и положительно и отрицательно – его личный опыт и его личное познавательное творчество» [9, с.43].

Философия и поэзия сближены культивированием как мысли, так и чувства. «Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего жизнь моя сквозь тернии и слезы есть все-таки наслаждение» [19, с.49].

В поэзии внешние впечатления переходят в мысленные образы, соединяющие чувство и мысль – такова «философия поэзии», которую инверсивно можно соотнести с «поэзией философии»:

Мысль и чувство в России
да живут по соседству.
Там, где разум бессилен,
обращаемся к сердцу (В. Костров).

Язык поэзии и язык философии объединены доведением до предела как чувства, так и мысли. М.К. Мамардашвили пишет: «Философия есть язык, с помощью которого мы занимаемся прояснением обстоятельств человеческой жизни как таковой – на пределе. ...То есть философия занимается основанием человеческой жизни в предельной их форме (или предельными основаниями человеческого бытия и мышления)» [17, с.98]. Предельность в выражении чувств, их концентрация – жанровый признак лирики.

Синтез поэт-философ наиболее значим для понимания мировоззрения народа, его культурных ценностей и приоритетов, «ибо содержание поэтического вдохновения и философского прозрения в существе своем одно. Поэзия и философия, если можно так грубо выразиться, должны поверять одна другую, сливаясь в единстве своего объекта. Абсолютного, познаваемого как истина и ощущаемого как Красота», – писал С.Н. Булгаков [4, с.184].

В разные периоды коллективное и индивидуальное сознание по-разному фиксируется в философии и в поэзии: что ценится – прошлое, настоящее или планируемое, предвосхищаемое будущее; чему нужно уделить наибольшее внимание – сохранению того, что проверено опытом и традициями, или переустройству; что очевидно устарело, ушло, а что надо хранить изо всех сил. Мироощущение меняется, оно должно меняться – иногда даже на протяжении жизни одного поколения. И все-таки о ряде особенностей *русскости* можно говорить и в измененном мире.

Русскость, как и любое другое синтезирующее смыслы понятие, – категория историческая, и каждый век имеет свой набор черт, свою иерархию признаков. Постоянство сохраняется в противоречивых оценках русскости. Вяч. Иванов определял русскую душу как варварски-благородную и называл такие отличительные черты психологии русского народа: «скептический, реалистический склад неподкупной русской мысли, ее потребность идти во всем с неумолимо ясною последовательностью до конца и до края, ее нравственно-практический строй и оборот, ненавидящий противоречия между сознанием и действием, подозрительная строгость оценки и стремление к обесценению ценностей» [8, с.368].

Русская философская мысль неоднородна, что также можно рассматривать как следствие противоречивости русского человека. В предельном варианте можно сказать: философий столько, сколько самих философов. Новым носителям философского знания еще придется разбираться в верности критериев оценки самой философии по отношению к национальным свойствам. «С основания мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека. Но от Манфреда до Ницше западная страдает сологубовским зудом: «Кого бы мне посечь?» [19, с.49].

Из тех состояний, которые рано организуют философскую мысль и поэтическое чувство, наиболее существенно состояние трансцендирования, выводящее из времени в безвременное, вечное. Конструировать сверхопытную реальность через опыт земного существования, в доступных предметах и знакомых словах улавливать превышающие смыслы, подчиняться внутреннему голосу как правде выбора – такова «презумпция» философствования и поэтического творчества, способствующая неистощимости рефлексий, но одновременно их неопределенности и незавершенности. Выход за границу эмпирического Я сближает философов и поэтов. Философствование как черта русскости оборачивается невыводимостью конечного смысла любой проблемы – от бытовой до бытийной. Русский человек – провиденциальная личность, он больше

мечтает сделать, чем делает (*воля к мечте* вместо *воли к жизни* – у В. Розанова), чаще пророчествует, чем анализирует прошлое и настоящее. «А в России пророческий пыл, / Черный ветер и белые ночи. / Там среди безымянных могил / Путь к бессмертью длинней и короче» (А. Межиров).

То, что Вяч. Иванов называл дионисийским началом, также антиномично по своей природе. Русское дионисийство – это полнота переживаний, их полярность, стремление совместить несовместимое: пафос боговмещения и греховность, свободу и подчиненность, жалость и жестокость, выговаривание себя и стремление к неизреченному. Полнота чувств – в их отнюдь не произвольном, а вполне утвержденном культурой антиномизме, суть которого с формульной точностью определил А. Блок: «радость, страданье – одно».

Противоречивость соединяемых эмоций, оксюморонность эмотива и его качественных определителей – постоянное свойство русской лирики: *нежность звериная* (Ю. Кублановский), *жуть восторга, мои прекрасные страданья* (И. Шкляревский), *сладкая боль* (В. Казанцев), *уравновешенный безумец, вражда любовная* (А. Кушер), *восторга светлого испуг, безысходная горечь счастья* (М. Дудин), *от тоски чуть-чуть навеселе* (А. Межиров), *невеселое веселье, соблазн боли, роскошь беды, ужас обожанья, плач нежности, алчно сочувствуя, горечь любви* (Б. Ахмадулина), *счастливой тревогой* (О. Седакова), *радостная злоба* (Л. Владимирова), *враг мой нежный* (А. Преловский), *холод восторга* (В. Шефнер), *тревожный покой* (А. Тарковский).

Соединение эмоций в поэтической речи – знак того, что психическая жизнь русского человека протекает путем бесконечного зацепления одних чувств за другие. Это свидетельство сложного, неоднозначного состояния рефлексирующей личности и ограниченности автономного языкового знака, неспособного выразить всю полноту и противоречивость эмоций. Сочетание эмоций в одном темпомире – в небольшом пространстве лирического стихотворения – не просто суммирование эмоций, а стремление выразить то состояние, которое и есть признак ментальности (в другой аксиоматике – загадочность, непредсказуемость, тайна русской души).

В однородном ряду оказываются: *смирение, гордыня; ненависть, любовь; свобода и любовь; петь и плакать; любовь и страданье; тоска и беда; память и совесть; пристрастие и гнев; нежность и рыданье; беда и вина; страсть и беда; стыд и страх; любовь, печаль, судьба; улыбка и страданье* (В. Костров), *свобода и тоска; тоска и веселье* (Л. Миллер), *восторг, ужас, стыд; надежда, гордость, стыд; стыд, вина; восторг, страх* (В. Казанцев), *умиленье, зависть, восторг; гнев и боль; беда и тревога; любовь, надежда, боль; свободно и счастливо* (Д. Самойлов), *сожаление и гнев; страх и тоска; тоска и горе; любовь и гнев; стыд и боль; раскованность и испуг* (М. Дудин); *страх, тревога, печаль; счастье и вина; злоба и жалость* (А. Межиров); *страх и боль; любовь и покой; любовь и покой; печаль и покой; печаль и любовь* (Ю. Кузнецов); *облегченье и надежды; ликование и отчаянье; веселье и тоска; тоска и ужас; гнев и печаль; надежда, радости и боли; тревога и вина; беда и мука; праздник и мученье; мука и томленье* (Ю. Левитанский); *послушанье и гонор; счастье и бедствие* (Ю. Кублановский); *счастье и горе; любовь и горе; страдание и счастье; любовь и тоска* (А. Кушнер); *любовь, сочувствие, слезы; прощенье, отвращенье; любовь, надежда, боль; очарованье и разочарованье* (Д. Самойлов); *любовь, работа, покой; страсти и беды; стыд и страх; любовь, печаль, судьба; любовь, сочувствие, слезы; беда*

и вина (В. Костров); *и смерть, и страх, и трепет; надежда, гордость; стыд, восторг; ужас, стыд* (В. Казанцев); *смирение и дерзость; святость и грех* (В. Савельев); *скорбь и стыд* (Л. Владимиров); *позор, боль, мука* (И. Шкляревский); *бред и восторг; грусть и радость; уныние и предсчастье; совесть и боль; мука и блаженство; нежно и скорбно; любовь и печаль, тоска и счастье; тосковать возле счастья; страх и вялость; страдать и сострадать; любовь, беспокойство, тоска; беда и печаль; тоска и счастье; гнев и милость; тоска и нега; мудрость и печаль; корысть и желания; печаль и гордость; дерзость и угрюмость; вспыльчивость и щедрость; гордость и горечь; совестно и тошно; нежно и скорбно; тоской и негой* (Б. Ахмадулина).

Соединяя эмоции, поэт заявляет о тех парадигматических и ассоциативных связях, которые ближе всего к показателям национальной ментальности: «И веком нежность и суровость / в нас нераздельно сведены», «и знай, что истинное счастье / Слегка окрашивает грусть»; «Куда? Зачем? Не все равно ли? / Лишь подойди и рядом встань / И между радостью и болью / сожги придуманную грань!»; Земля гудит, чтоб счастье с горем / Я рассудить бы смог на ней» (А. Прасолов); «В столице или захолустье, / В любых концах любой страны / Из грязи, нежности и грусти / Мы все равно сотворены» (Е. Храмов); И низкий звук тянулся, как года / неразделенной нежности и муки» (Л. Щербатова); «По моим представлениям – / Двуединство необычное, позабытое. / Там два врага – два спутника прошлого – / Покой и яркость – / Ужились непринужденно и безумно, / До легкомыслия» (Ю. Милорава); «На вечерней заре / упаду под косой / и заплачу от счастья / прозрачной росой» (В. Костров); «Потому что вверх, как выпел, / поднимает сердце благодать, / потому что есть любовь и гибель, / и они сестра и мать»; «Кто знает смелость, знает и милость, / потому что они – как сестры: / смелость легче всего на свете, / легче всех дел – милосердье» (О. Седакова); «Что осталось? Остались лишь совесть и жалость» (Б. Слуцкий); «И ненависть, мешающая вздоху, / возникла в нем с мгновенностью любви» (Б. Ахмадулина); «Просто и безыскусно / падают высоты / синие льдинки грусти, / капельки доброты» (В. Костров).

В контексте таких примеров вполне возможны ссылки на национальный характер. Зарубежные исследователи русского национального характера называют такие его свойства, как экспрессивность и эмоциональную живость, импульсивность и легкость в проявлении чувств [5; 23]. Если «англо-саксонской культуре свойственно неодобрительное отношение к ничем не сдерживаемому потоку чувств», то «русская культура относит выражение эмоций к одной из основных функций человеческой речи» [5, с.43].

Активность эмоций не означает их неконтролируемости. Контроль – в моральных постулатах, на которых основывается чувство как предмет философии и предмет словесности.

В центре внимания при выявлении признаков национального видения мира оказываются этические концепты, в основе которых лежат деонтические нормы: что истинно, а что ложно, что можно, а что нельзя, что должно, а что есть на самом деле и др. И в этом обнаруживается некая природная полярность русского человека, отрицание для себя того, что пылко утверждается для другого («Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали», - писал моралист В. Розанов [19, с.55].

Для русской философской мысли характерна прямая нацеленность на описание (а нередко и предписание) национальных деонтических норм. Базовые этические

понятия в русской философии – *правда, совесть, стыд, вина, долг, грех, любовь, свобода, воля*. Каждый из этих концептов может быть предметом отдельного монографического рассмотрения, особенно если это рассмотрение ориентировать на проблемы эволюционной эпистемологии – изменения культурной познавательной ситуации и аксиологических критериев. Лингвофилософские проблемы этики – предмет интереса замечательных русских филологов – Д.С. Лихачева [14], Н.Д. Арутюновой, Е.В. Падучевой, Е.В. Урысона, Т.В. Булыгиной [15], А.Д. Шмелева [21; 22] и др., в работах которых рассматриваются разные виды деонтической модальности, описывается специфика русского морального дискурса – религиозного и светского.

Русскость в поэзии – отражение культурных, психологических, нравственных характеристик народного сознания, национального мировидения. К поэтическому слову всегда было доверие: искренность, любовь к земле, особое, ноосферное ощущение времени и пространства, самой жизни в ее быстротечности и полноте – все то сохранный, без чего невозможна культура, заложено и в разных формах проявлено в поэзии.

Философия, психология, когнитология, этнография преломляются в поэзии и могут быть аргументами в интерпретации *русскости*. И дело здесь не в прямых дефинициях (что есть что), а в мировосприятии, совмещаемом с внутренней ответственностью за сказанное и подуманное. Аксиом в определении этого многосложного и во многом противоречивого концепта нет, но есть вербальная фиксация категорий сознания, мышления – всего того, что принято называть национальным менталитетом.

Остановлюсь эскизно на нескольких этических концептах, лежащих в основе русского нравственного сознания. Опыт, наблюдения, интуиция, размышления философов и поэтов о любви столь многообразны, что могут быть изложены в десятках томов. Может быть, главное удалось сказать В. Розанову: «Гаснет любовь – и гаснет истина. Поэтому «истинствовать на земле» – значит постоянно и истинно любить» [19, с.66].

Советь, стыд. Н.Д. Арутюнова в статье «О *стыде* и *совести*» определяет основное назначение этих понятий – выражать «внутреннюю способность Эго реагировать на оценку своих действий Другим» [1, с.57]. В статье встречаем ряд отточенных формулировок: «Стыд формирует социального человека, совесть – нравственную личность. Стыд учит человека поведению, совесть – поступкам. В отличие от стыда, практически неотделимого от Эго, совесть не сливается с Эго: Эго думает, принимает решения, действует, совесть направляет его мысли и контролирует его действия. Если человек не внял голосу совести, совесть его осуждает и наказывает, совесть – это контрагент Эго» [1, с.58].

И. Ильин оценивает совесть как «изумительное, таинственное душевное состояние», «драгоценнейший источник всякого познания» [9, с.143]. Совесть – источник чувства ответственности, «поэтому там, где это чувство угасает, воцаряется всеобщее безразличие к результату труда и творчества: что же могут создать безответственный судья, политик, врач, офицер, инженер, кондуктор и пахарь?» [9, с.146].

М.К. Мамардашвили подчеркивал такое свойство совести, как самобытийствие – невыводимость из правил и законов и невыводимость из известного. «Все мы знаем, что такое совесть, и ни один из вас не может определить, что это такое. Она – несомненна, но должна быть несомненной у каждого, то есть во многом. Нет одного содержания совести, хотя оно одно» [17, с.67].

Поэтический язык – неисчерпаемый пример того, что для русского поэта «нерасторжимы словесность и совесть» (Б. Ахмадулина). Отсюда – разнообразие вариантов представленности рациональной семантической модели, в которой все Это: «Вода. Лицо. В лице – пыланье / Восторга. ужаса, стыда!»; «На обжигающее слово / Надежды, гордости, стыда / Гляжу из возраста другого – / В каком ты не жил никогда» (В. Казанцев); «Довольно... Все ушло, помимо / И совести и красоты...»; «Я буду памятью твоей / И совестью твоей»; «Я за то, чтобы краска стыда / Всесловенно сделалась краской» (В. Костров); «И то был урок и пример / не славы, даримой признанием, / а совести, ставшей призванием / и высшею мерою мер» (Ю. Левитанский).

Вина. В русской концептосфере обозначена связь *совести, стыда и вины*. О.Ю. Богуславская, сравнивая прилагательные *виноватый* и *виновный*, подчеркнула, что «*виноватый* – очень русское слово, а *виновный* – гораздо более нейтральное» [3, с.79], так как *виновный* характеризует ситуации, подлежащие социальной регламентации, а *виноватый* указывает на то, что имеет место некоторое нежелательное положение вещей. В поэзии и то, и другое – очень русские слова. Несколько примеров: «- А на лице всегда, / Как тень, следы видны. / Сокрытого стыда? / Таящейся вины?» (В. Казанцев); «Как бы чертеж земли, погубленной / какой-то страшною виной, / огромной крышкою обугленной / мерцал рояль передо мной» (Ю. Левитанский); «То не скорбная страна / Пробуждается на час, / То последняя вина / Надвигается на нас» (Л. Владимирова).

Вина, по всей видимости, этноцентрическое русское чувство, во всяком случае в списки универсальных эмоций его включают только русские психологи и философы. *Вина перед кем-то за что-то* – одно из чисто русских когнитивных проявлений: «С детской поры моей, как наважденье, / все то же виденье, / все та же картина встает передо мной, / неизменно во мне вызывая / чувство тревоги и смутное чувство вины перед кем-то, / кто мне неведом» (Ю. Левитанский). Вина оказывается синонимом честности: «Все честное окрасится виной...» (В. Костров). Вина и мука, стыд и вина в поэзии всегда рядом: «Звук указующий, пусть велика / моя вина, но велика и мука» (Б. Ахмадулина); «И в нем, и в нем следы видны / Работы тяжелой, напряженной. Но столько в нем стыда, вины» (В. Казанцев).

Страдание, мука, боль, горе. От совестливости, виноватости (вне их социальной регламентации) – мука. И, конечно же, от любви и даже от счастья. «*Боль жизни* гораздо могущественнее *интереса к жизни*. Вот отчего религия всегда будет одолевать философию» [19, с.29]; «В душе моей столько лет стоит какая-то непрерывная боль, которая заглушает желание славы. Которая (если душа бессмертна) – я чувствую – *усилилась бы, если бы была слава*» [19, с.38]; «Любовь есть *боль*. Кто не болит (о другом), тот и не любит (другого)» [19, с.107]; «Болит душа, болит душа... И что делать с этой болью – я не знаю. Но только *при боли* я и согласен жить» [19, с.76].

И у поэтов: «И только с болью я солидарен» (И. Бродский), «Мне боль придает одержимость и силу. ... Не зная бы, что привкус беды конструктивен / В саднящей строке стиховой», «Все б эту муку, этот трепет / Губами горькими ловил» (А. Кушнер); «Это было предчувствием боли, / Как бывает у птиц и зверей», «Слава богу! Слава богу! / Что я знал беду и тревогу!» (Д. Самойлов), «Что нам до шумного света – / Шепот любви и вражды – / Было бы горе согрето / памятью общей беды» (Л. Владимирова).

Любовь и страдание – всегда рядом, это некая заданная модель отношений в русской межличностной картине мира: «Кроме детской улыбки. / Любви и страданья, / На сверкающем лезвии не ничего (В. Костров).

«Только *горе* открывает нам великое и святое» [19, с.158]. Страдание, по мнению И. Ильина, связывает философию с жизнью: «ибо жизнь есть *страдание*, *ведущее к мудрости*, а философия есть *мудрость, рожденная страданием*» [9, с. 44].

Русский человек ждет беду, считает, что приход беды неподвластен ему, как неподвластна судьба: «Бедя приходит не оттуда, / откуда ждешь ее всегда. / Как самовластная причуда / Судьбы, врывается беда» (В. Казанцев). Горе может задаваться как модель существования вообще: «На блеск осеннего огня, / На зыбкий, плавный выгиб взгорья / Гляжу – из завтрашнего дня. / ...Как бы из будущего горя» (В. Казанцев); «Деревья прянули от моря, / Как я хочу бежать от горя – / Хочу бежать, но не могу, / Ведь корни держат на бегу» (Д. Самойлов).

Страдание в поэзии всегда находится в контакте с другими чувствами: «Значит, нет впереди пустоты / и печаль не туманит сознание, / если вся отзываешься ты / на улыбку мою и страданье» (В. Костров); «А особой любви добивался / Тот, кто больше при жизни страдал» (В. Казанцев); «И может быть, это сверканье / Листвы, и дворцов, и реки / Возможно лишь в силу страданья / И счастья, ему вопреки!» (А. Кушнер).

И совершенно особое русское чувство – желание страдания: «...И говорят преданья, / что, ринувшись на поиски беды, – / как выгоды, он возжелал страданья»; «Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо: / дай ей страдать – и хлебом не корми!» (Б. Ахмадулина).

Этически значимой оказывается оппозиция: страдать самому и не причинить страдания другому: «О, если бы дойти до края бездны, / Не причинив страданья никому» (М. Волкова).

Боль русского человека, как и вина, не имеют конкретного референта – причины. Беспричинность, неопределенность боли – одно из проявлений трансцендентного сознания: «Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь» [19, с.143]. Не в этом ли объяснение оксюморонов «сладкая боль» (В. Казанцев), «соблазн боли», «роскошь беды» (Б. Ахмадулина) и оправдание поэтической рефлексии, немислимой с точки зрения логики чувств: «Какое счастье быть несчастным!» (А. Кушнер).

Противовес бедам тоже обозначен: «Что мне судьба ни готовь, / Вынесу беды любые: / Вера, Надежда, Любовь – / Птицы мои голубые... (Н. Старшинов).

Сострадание – чувство «христианского», соборного человека. В.И. Даль так определял это чувство: страдать вместе, переносить муки сообща; жалость к другому, соболезнование, сочувствие, симпатия.

Один из нравственных афоризмов В. Розанова акцентирует внимание на жалости как всеобъемлющем чувстве русского человека: «Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости» [19, с. 86]; «Жалость в маленьком. Вот почему я люблю маленькое [19, с. 95]. О растворимости души в жалости писал Н. Бердяев. Жалость у этого русского философа вызывала «вся скорбь мира»: охлаждение человеческих надежд и чувств, всякое расставание, воспоминание о прошлом, сознание неправоты, страдания животных и многое другое [2, с.65-72]. Так же жалостлив русский поэт: «И жалко всех и вся. И жалко / Закушенного полушалка, / Когда одна, вдоль дюн, бегом – / Душа – несчастная гречанка... / А перед ней взлетает чайка. / И больше никого кругом» (Д. Самойлов). Жалость сильнее ненависти: «И эта маленькая малость / Вдруг

озарит, как солнце, тьму. / И вместо ненависти жалость / В душе вдруг вскинется к нему» (В. Казанцев). И сильнее радости: «Лишь беспощадное счастье! / В радости – жалости нет!» (В. Казанцев). Общественное назначение поэта В. Костров сопоставляет с состраданием: «Они сошли с парнасской высоты / и обрели народное признание / в тот миг, / когда сознание красоты / соединили с чувством сострадания».

Лучшего примера передачи этого чувства в лирике, чем в стихотворении В. Кострова «Московский дворик», мне не приходилось встречать. Приведу несколько заключительных строк:

Господа! Не надо строить храмы
И держать плакучую свечу.
Сварен суп. Пора делить приварок.
Падает, как саван, свежий снег.
Дворик спит. А возле иномарок
Умирает русский человек.

Пассивное и активное сострадание всегда находятся в конфликте. Одно из свидетельств – любовь к мертвым, нередко приходящая на смену равнодушию или нелюбви: «Видимо, я из тертых / тех калачишек, что / верно умеют мертвых / только любить, и то // по существу, немногих – с кладбища русских свойств, / то бишь блаженств убогих, / праведных беспокойств» (Ю. Кублановский).

Тоска, печаль – доминантные эмоции русских философов и поэтов. Н. Бердяев считал тоску доведенным до последней остроты конфликтом между ничтожеством, пустотой, тленностью этого мира и трансцендентным [2, с.50]. Вот любопытный отрывок из книги артиста А. Пороховщикова «Цензуру к памяти не допускать»: «- О чем ты думаешь? – Я не думаю, я тоскую. – Что-нибудь случилось? – Нет, я просто русский человек».

В русской поэзии представлены все мыслимые и немыслимые виды *тоски* – смертельной, ледяной, нездешней, яростной и т.д.: «Весна! До головокруженья / Такая ясная тоска», «Старух лампадных смиренные поклоны, / И яростная русская тоска, / Среди погостов – горечь самогона, / Четочная удаль каблука», «О, шорох ночи Гефсиманской, / Еще продлись! / С тоской безумною, славянской / Переплеться!» (Л. Владимирова); «О господи! Все женщины мечтают, / Чтоб их любили так, как ты меня, – / Неотвратимо, с яростной тоскою, / С желаньем мстить, как первому врагу» (И. Снегова).

Тоска, печаль могут мыслиться с большой степенью самостоятельности, самобытности – отсюда их персонифицированность в поэзии, отстраненность от субъекта – носителя этих чувств («И постояльца прежнего звала / его тоска, дичавшая за шкафом» – Б. Ахмадулина). В то же время они легко соединяются с любым другим чувством. Замечено присутствие печали и тоски в любви («что любовь непременно венчает печаль» – Б. Ахмадулина), в счастье («Мучимый тоской, / должно быть, о всеобщем счастье грезил?» – Б. Ахмадулина), естественно, в беде («Не оставь нас в беде и печали» – Б. Ахмадулина), в мудрости («И я познаю мудрость и печаль» – Б. Ахмадулина), в гордости («Столько раз / я знала здесь печаль и гордость» – Б. Ахмадулина), в свободе («Дыши свободой и тоской» – Л. Миллер), в веселье («Такая тоска и такое веселье / Испить до конца это дивное зелье. / Такое веселье, такая тоска, / Что жизнь и любовь не прочней волоска» – Л. Миллер).

Печаль для русского человека настолько объемна и многообразна, что возможно ее градуирование и квалификация по качественному признаку: «Даже самой немислимой дали / Отдаленнее в мире есть даль. / Даже самой бездонной печали / Есть бездоннее в мире печаль» (В. Казанцев); «Вчера, в июня двадцать третий день, / был совершенен смысл моей печали» (Б. Ахмадулина).

И оптимизм вперемешку с пессимизмом: «Будет холодно? Ну и что же! / Я в распавшемся снегу / Всю тоску свою заморожу. / А веселие разожгу» (Н. Старшинов). Избавление от тоски – хотя бы на время – только в природе: «Как тоска / свою силу возьмет надо мной, / словно вьюшку забившая / черная сажа, вызываю виденье родного пейзажа: / красоту несказанную, / свет проливной» (В. Костров).

Печаль у поэтов – может быть, вслед за Пушкиным – не только светла, но и сладка: «И можно до последнего глотка / испить ее, всю горечь той печали, / чтоб, чуя уже холод за плечами, / вдруг удивиться – / как она сладка!» (Ю. Левитанский). Сравним с лексикографическим замечанием А. Вежицкой: «... *грусть* иногда может быть охарактеризована как *светлая*, а выражение *светлая печаль* звучало бы странно...» [6, с. 511].

Грусть и радость. Нераздельность этих чувств лежит в эмоциональной концептосфере русского человека. «Моя вечная грусть и радость. Особенная, ни к чему не относящаяся» [19, с.48]. Полноценная радость – в положительном восприятии живого мира простых вещей, окружающих человека: «Все в радость мне: и веник на крыльце, / и домика возлюбленная малость, / и снег, что тает на моем лице, / прохладен, как новехонькая младость» (Б. Ахмадулина).

Слезы могут свидетельствовать о разных, в том числе противоположных, чувствах. Более того, они – эквивалент жизненности: «Видишь – плачу, значит все в порядке: / если плачу, значит, это я», «На вечерней заре / упаду под косою / и заплачу от счастья / прозрачной росой», «Я был рожден, чтоб петь и плакать / И женщине шептать: люблю!», «Стылой осени воздух хрустящий глотать / И над русской песнею плакать» (В. Костров); «Все здесь мертво и не способно к плачу» (Б. Ахмадулина); «И плачу над бренностью мира / Я, маленький, глупый, больной», «И пускай бесстрашно льются слезы / Умиления, зависти, восторга» (Д. Самойлов).

Страх тоже занимает не последнее место в мире поэтических чувствований, хотя и может быть окрашен иронией: «- Жить мне в страхе надоело. / Нынче страх отбросил я. / И на мир гляжу я смело. / – В чем же смелость-то твоя? // – Раньше я всего боялся. / И о том, что не боюсь, / Думать даже я боялся. / А теперь вот не боюсь / Говорить, что я боюсь!» (В. Казанцев).

Восторг как сконцентрированная радость может уподобиться другой концентрации чувства – страху: «И восторга, подобного страху, / По земле пролетает волна» (В. Казанцев).

Надежда. Философия надежды противоречива: расхожее «надежда умирает последней» фиксирует сохранные свойства надежды: «Мы последние этого века. / Мы великой надеждой больны» (В. Костров). «Иллюзорность и тяжесть надежды» оценивается как *смена вех*, ставшая принципиальной для *другой литературы*, имеющей такие точки отсчета, как Солженицын и Шаламов [7, с.13]. Боязнь потерять надежду, по мнению М. Мамардашвили, мешает человеку увидеть истину так, как она есть. Надежда соседствует со страхом: «...два основных врага человека – надежда и страх, иначе – отсутствие мужества. Или – надежда и лень» [16, с.120]. Преодоление страха – обретение надежды: «Надеждой. И звездой. Преодоленным страхом» (В. Казанцев).

Надежда на счастье неистребима: «- Тянусь, надеждою томим, / Я к счастью дальнему, как к чуду» (В. Казанцев); «Еще и музыка твоя не зазвучала... / Надежду робкую тая, / Дождись начала» (Л. Миллер). И о надежде православного человека: «И надеваю я крестик нательный – / Каплю надежды из серебра» (В. Костров).

Лень. У этого состояния в русском сознании – особый статус. Лень по отношению к критериям, идущим из внешнего мира, и лень как несуетность, то есть отстраненность от внешнего мира. «Я пришел в этот мир, чтобы *видеть*, а не *совершать*», поскольку «сам себе бесконечно интересен» [19, с.34, 90]. Масса внутреннего движения не переходит в том же объеме во внешние действия. В. Розанов о русском человеке: «Вечно мечтает, и всегда одна мысль: как бы уклониться от работы» [19, с.37]; «Русский «мечтатель» и существует для разговоров. Для чего же он существует. Не для дела же?» [19, с.112]. И одновременно: «Русская жизнь и грязна, и слаба, но как-то *мила*» [19, с.125]; «Может быть, народ наш и плох, но он – *наш* народ, и это решает все» [19, с.127]. И в поэзии: «О Дельвиг, / ты достиг такого ленью, / Чего трудом не каждый достигал» (Д. Самойлов).

Свобода занимает особое место в духовных исканиях русского человека. Едва ли не полный набор противоречий в оценке этого состояния обозначил Н. Бердяев, считавший, что «Все в человеческой жизни должно пройти через свободу, через испытание свободы, через отвержение соблазнов свободы» [2, с.57]. Главное – внутренняя свобода, свобода духа, воля. «Если внешняя свобода устраняет насильственное вмешательство *других людей* в духовную жизнь человека, то внутренняя свобода обращает свои требования не к другим людям, а к самому – вот уже внешне-нестесненному – человеку. Свобода по самому существу своему есть именно *духовная свобода*, т.е. свобода духа, а не тела и души» [9, с.129].

В стихотворении «Взгляды» В. Казанцев, соединяя свободу с ее антиподом – рабством, определяет формулу русской свободы, в понимании которой все парадоксально смешивается:

- Свобода – свежесть, разноликость,
Неуспокоенность, боренье.
- Свобода – это мгла и дикость,
Разнузданность, столпотворенье.
- А рабство – это тьма, упадок,
Тоски бездонная пучина.
- А рабство – это строй, порядок,
Объединенность, дисциплина.
- Свобода – это свет и братство,
А рабство – черная невзгода.
- Свобода – это гнет и рабство,
А рабство – полная свобода!

Отношение к родному языку. Отношение к родному языку как к соборной среде – вместе непрестанно творимой и обуславливающей преемственные связи (прежде всего духовные) между поколениями. Естественны при этом высокие слова о родном языке каждого народа. «Каждый этнический язык – это уникальное коллективное произведение искусства, неотъемлемая часть культуры народа, орган саморефлексии, самопознания и самовыражения национальной культуры» [12, с.133]. О русском языке писалось и пишется много – в прозе и в стихах. Приведем слова Вяч. Иванова: «Велик и прекрасен дар, уготованный Провидением народу нашему в его языке. Достойны

удивления богатство этого языка, его гибкость, величавость, благозвучие, меткая, мощная краткость и художественная выразительность, его свобода в сочетании и расположении слов, его многострунность в ладе и строе речи, отражающей неуловимые оттенки душевности» [8, с.396]. Далее Вяч. Иванов говорит о том, что в русском языке вследствие «счастливого брака с эллинским словом» и раннего усвоения многочисленных влияний без утраты самородных особенностей «заложена была распространительная и собирательная воля; он был знаменоваи знаком сверхнационального, синтетического, всеобъединяющего назначения. Ничто славянское ему не чуждо: он положен среди языков славянских. как некое средоточное вместилище, открытое всему, что составляет родное наследие великого племени» [8, с.397].

И философ, и поэт познают мир, то есть размышляют о разных его проявлениях. Мысль тесно связывается с ощущениями, оценкой и чувством – это общие свойства человеческой природы. В то же время отношения между познающим человеком и миром опосредованы языком, задающим определенную картину мира, ориентированную на данный этнос. Этноцентричность поэтического слова и философских рассуждений, естественно, создает напряженность оппозиции «объективность – субъективность» в определении национального духа. во все времена провоцирует критический дискурс, но от желания выявить признаки национального видения мира – какими бы мощными ни оказались процессы глобализации – никто не откажется. М. Цветаева говорила о том, что «иные вещи на ином языке не мыслятся». Иначе говоря, есть понятия, имеющие абсолютную степень значимости в рамках одной модели мира, одного языкового сознания и не значимые или отсутствующие в другом мировосприятии.

Язык народа являет совокупный опыт культуры, истории, памяти. Маркеры самобытности языка в наибольшей степени проявляются в поэтическом творчестве, проявляющем свойства языка как инструмента познания мира и самого человека.

Без обожествления речи, преклонения перед родным словом не может быть поэзии. «Надо себя сжечь / И превратиться в речь. // Сжечь себя до тла, / Чтоб только речь жила» (Д. Самойлов).

Выводы. Итак, философский и поэтический дискурсы, рефлектирующие относительно концепта русскости, основываются на феноменах сознания, фактах истории и культуры. При этом сохраняется корректность семантики метаязыка описания. Основные признаки русскости связываются с духовностью и душевностью, с поиском идеала, почитанием красоты, стремлением к совершенству в борьбе со злом в разных его проявлениях. Системообразующую роль выполняют этические предписания – совестливости, правды, долга, ответственности.

Эмоциональная концептосфера русского человека противоречива, в ней уживаются радость, восторг, веселье, печаль, тоска – все это признаки полноты бытия, его внешней и внутренней напряженности. Константная этническая категория – любовь во множестве ее признаков. Основной ценностный поиск – поиск счастья. Континуальность культуры основывается на категории памяти – социальной, исторической, литературной.

Ценностная семантика русскости оформляется «как подсистема семантического языка культуры, парадигматика которого присутствует в культурном сознании, а синтагматика реализуется в культурном дискурсе» [18, с.12] – прежде всего в философском и художественном.

Семантически язык русскости представлен в лексике, в синонимических рядах, в многочисленных способах оценки – как прямой, так и косвенной, во фразеологии, афористике, «наивной» и официальной лексикографии, в фольклоре, в анекдотах и, конечно же, в разножанровой и разностилевой художественной литературе.

Список литературы

1. Арутюнова Н.Д. О *стыде* и *совести* // Логический анализ языка. Языки этики. – М., 2000.
2. Бердяев Н.А. Самопознание. – М., 1991.
3. Богуславская О.Ю. И нет греха в его вине (*виноватый* и *виновный*) // Логический анализ языка. Языки этики. – М., 2000.
4. Булгаков С.И. Без плана // Поэзия. Альманах. – М., 1990. – Вып. 56.
5. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1997.
6. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. – М., 1999.
7. Ерофеев В. Русские цветы зла. – М., 1998.
8. Иванов Вяч. Родное и вселенское. – М., 1994.
9. Ильин И. Сочинения в двух томах. – М., 1994. – Т. 2.
10. Иорданский В. Русские, какие мы? // Свободная мысль. – 1998. – № 2.
11. Князева М. Русский характер в русской сказке // Спутник. – 1997. – № 1.
12. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М., 2003.
13. Куприянов В. Наши публикации // Поэзия: Альманах. – М., 1991. – № 59.
14. Лихачев Д.С. Заметки о русском // Избр. работы. В 3-х т. Т. 2. – Л., 1987.
15. Логический анализ языка. Языки этики. – М., 2000.
16. Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте (психологическая топоология пути). – М., 1995.
17. Мамардашвили М.К. Мой опыт нетипичен. – СПб., 2000.
18. Маринчак В.А. Принципы конституирования метаязыка ценностной семантики // Вісник Харківського нац. ун-ту. Сер. Філологія. Філологічні аспекти дослідження дискурса. – Харків, 2000. – № 520. – Вип. 33.
19. Розанов В.В. Уединенное. – М., 1990.
20. Соловьев В. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. – М., 1990.
21. Шмелев А.Д. «Широкая» русская душа / Русская речь. – 1998. – № 1.
22. Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира. – М., 2002.
23. Kluckhohn, Clyde. 1961. Culture and behavior. New York: Free Press of Glencoe.

Поступила в редакцию 14.02.2006 г.